11. *Bech G.* Studien über das deutsche Verbum infinitum. Kobenhavn, 1955. 1. Bd. § 51. S. 56.
12. *Behaghel O.* Deutsche Syntax. Heidelberg, 1923. Bd. II.
13. *Brinkmann H.* Die deutsche Sprache. Düsseldorf, 1962.
14. *Grimm J.* Deutsche Grammatik. Göttingen, 1870–1898. Bd. IV.
15. *Heyse J. Chr.* Deutsche Grammatik oder Lehrbuch der deutschen Sprache, 2. Aufl., vollatändig umgearbeitet von O. Lyon, Hannover und Leipzig, 1990.
16. *Paul H.* Deusche Grammatik.Halle/Saale, 1951. Bd. III.
17. *Schmidt W.* Grundfragen der deutschen Grammatik. Berlin, 1966.

Ю. В. Балакшина

«ВСТРЕЧА С ЖИЗНЬЮ»: ПУШКИНСКИЙ ВОПРОС В ДНЕВНИКАХ ПРОТ. АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА

Статья посвящена дневникам известного литургиста и богослова прот. Александра Шмемана. Сознание дневниковеда исторично и внутренне диалогично, что позволяет увидеть за непосредственной читательской реакцией, фиксируемой на страницах дневника, диалог личностей и культур и экзистенциальный диалог, в рамках которого о. Александр ставит и разрешает жизненно важные для себя вопросы. Главный пушкинский вопрос, стоящий перед внутренним «я» о. Александра и находящий воплощение в его дневниковых записях, — вопрос о жизни как даре, о возможности принятия или непринятия этого дара.

Ключевые слова: прот. Александр Шмеман, А. С. Пушкин, дневник, диалог, Церковь, светская культура.

Yu. Balakshina

"MEETING WITH LIFE": PUSHKIN'S QUESTION IN THE DIARIES OF ARCHPRIEST ALEXANDER SHMEMAN

The article is describes the study of the diaries of the famous liturgician and theologist Archpriest Alexander Shmeman. The consciousness of the diary keeper is historic and has an inward dialogue, which allows one to see behind the first-hand reaction of the reader, recorded on the pages of the diary, a dialogue between personalities and cultures, and an existential dialogue, in which father Alexander states and resolves questions highly important for himself. The most important Pushkin's question, which is faced by the "inner self" of father Alexander and which is reflected in the diary records, is the question of whether life is a gift, whether it is possible to accept or not to accept this gift.

Keywords: Archpriest Alexander Shmeman, A. S. Pushkin, diary, dialogue, Church, secular culture.

В 2005 г. издательством «Русский путь» впервые на русском языке были изданы дневники известного литургиста и богослова, наследника первой волны русской эмиграции прот. Александра Шмемана (13.09.1921 — 13.12.1983). Александр Шмеман родился в Эстонии в семье эмигрантов из России, первую половину жизни провел во Франции, вторую — в США, куда он переехал в 1951 г., приняв предложение стать преподавателем (а позднее — деканом) Свято-Владимирской духовной семинарии. Во Франции он закончил русский кадетский корпус, в котором его наставник

генерал-лейтенант В. В. Римский-Корсаков приобщил его к русской поэзии и литературе, и французский лицей Carnot, где будущий отец Александр получил возможность приобщиться и к европейской культуре. В Свято-Сергиевском богословском институте его учителями были прот. Сергий Булгаков, архим. Киприан (Керн), прот. Николай Афанасьев, А. В. Карташев и другие выдающиеся деятели русской эмиграции. Особо тесные отношения сложились у о. Александра Шмемана с известным литературным критиком В. В. Вейдле, у которого он брал уроки русской литературы. В Америке о. Александр имел возможность читать лекции в православных приходах и проводить беседы на радио «Свобода» о А. С. Пушкине, Л. Н. Толстом, А. П. Чехове и многих других русских поэтах и писателях. Он был лично знаком с А. И. Солженицыным, И. А. Бродским, Н. М. Коржавиным, В. Е. Максимовым; на страницах своих дневников цитировал и рецензировал сотни произведений русской и европейской литературы.

Личность самого отца Александра Шмемана и дневники, которые он вел в течение последних десяти лет своей жизни, представляют собой уникальный культурный феномен, возникший на пересечении различного типа культур. Нам представляется, что наиболее адекватным способом описания этого феномена является теория диалога, разработанная в трудах М. М. Бахтина, прот. Георгия Флоровского, С. С. Аверинцева, В. С. Библера.

Диалог для Шмемана — это и привычная форма выражения мысли, сложившаяся благодаря устному общению о. Александра с различными аудиториями и его многочисленным выступлениям в печати в жанре публичной полемики, и специфический способ бытия сознания. О. Александр был в постоянном внутреннем диалоге с Богом через богослужение и молитву, с культурой, с современным ему миром, с самим собой. Он обладал привычкой задавать себе экзистенциальные вопросы и прилагал усилия, чтобы найти ответы на них. Поскольку сознание Шмемана диалогично, его дневниковые записи часто также обретают диалогичную форму: «Очередной номер «Русской мысли». И опять — тот же вопрос: что меня так раздражает в эмигрантской прессе? Часть ответа — *язык*…» [9, с. 511]. Диалог в тексте дневников далеко не всегда имеет внешнюю форму вопросов и ответов; в большинстве случаев он уходит внутрь фразы, изнутри диалогизирует слово, может быть выявлен в динамике развития той или иной темы на протяжении всего дневника.

В рамках данной статьи нам представляется необходимым рассмотреть, как в диалогизированном пространстве дневника раскрывается смысловой потенциал русской классической литературы, в частности, творчества А. С. Пушкина.

Своего рода «моделью» диалога личностей и культур в дневниках Шмемана может служить его общение с А. И. Солженицыным [6, с. 186 и др.]. О. Александр описывает свои личные встречи с Солженицыным, передает содержание разговоров и споров с ним. Внутренний диалог с этим собеседником он ведет, даже когда его нет рядом, постоянно соотнося с ним свои слова и мысли: «Думал вчера по пути из Патерсона — не пора ли подводить итоги, уступать место молодым (как этого «требует» Солженицын)?» [9, с. 188]. О. Александр фиксирует в своем сознании «"парасознательный" процесс разработки или, вернее, созревания» [9, с. 213] ответа Солженицыну, ощущая, что наличие этого ответа имеет отношение к основам его собственного существования: «А на глубине сознания, почти в подсознании, — непрекращающийся спор с Солженицыным, словно весь смысл того, что с ним происходит, — в нашем с ним «единоборстве», что именно нам — мне и ему — суждено столкнуться на «узкой дорожке». Словно для меня это вопрос «экзистенциальный» — ошибся ли

я в том, что я в нем услышал <…>, или нет…» [9, с. 217].

Аналогичным образом развивается диалог Шмемана и с другими русскими писателями, несмотря на то, что о. Александр отделен от своих «собеседников» существенной временной дистанцией и прямой контакт с ними невозможен. Их слово, их голос Шмеман воспринимает как «некое обращение <…>, молчаливое окликание, вопрос» [1, с. 157]. «Внешний» диалог может обретать формы непосредственной читательской реакции на тот или иной художественный текст, выписок из произведений писателя, размышлений о его личности и творчестве, которые Шмеман делает в процессе подготовки к лекциям по русской литературе. Но «внешний» диалог в дневниках о. Александра почти всегда дополняется и осложняется диалогом «внутренним». Писатель становится, если использовать определение М. М. Бахтина, тем «другим героем», в диалоге с которым дневниковед может увидеть и разрешить что-то важное в самом себе. Возникает «глубокая существенная связь <…> чужих слов одного героя (того или иного русского писателя — *Ю. Б.)* с внутренним и тайным словом другого героя (автора дневника. — *Ю. Б.)*» [3, с. 439]. Слово Пушкина, Толстого, Достоевского, вызывая внутренний резонанс в той или иной жизненной ситуации, позволяет Шмеману как бы заново узнать самого себя, высказать то в себе, что до этого не обретало смысловой и словесной оформленности.

В процессе его внешнего и внутреннего диалога с тем или иным «собеседником» в дневниках прот. Александра Шмемана вызревает «экзистенциальный вопрос», касающийся самых основ человеческого бытия. Можно сформулировать пушкинский, гоголевский, чеховский и др. вопросы, вырастающие в глубине сознания о. Александра. При этом личная встреча с «собеседником», происходящая через десятилетия и века, становится в то же время встречей с определенным типом культуры, родным, но и уже принципиально иным, чем тот, в котором живет и мыслит дневниковед в момент создания дневника.

Составляя на страницах дневника список прочитанных им книг и авторов, Шмеман выделяет русскую литературу в особый раздел и ставит ее на первое место: «В русской литературе: 1) *Толстой*, причем, читал и перечитывал всегда с наслаждением, во-первых, «Анну Каренину» и, во-вторых, «Войну и мир». Остальное не перечитывал. 2) *Достоевского* прочел, но за исключением «Братьев Карамазовых» не перечитывал, не тянуло никогда. 3) *Чехова* могу и хочется перечитывать почти всегда. 4) *Тургенева* — кое-что перечитал, но с ленцой и случайно. 5) *Пушкина* — перечитывал, особенно «Капитанскую дочку» и «Повести Белкина». 6) *Гоголя* — перечитываю всегда с новым наслаждением. 7) *Набокова* — тоже (ради именно почти физического наслаждения). 8) *Бунина* и т. д. Лермонтов, Розанов, поэты — почти все (не люблю Гумилева и всех «народников», все отдающее «люли, люли…»)» [9, с. 189]. Однако порядок упоминания писателей в приведенном списке только отчасти отражает глубину внутреннего диалога Шмемана с каждым из них. Анализ текста дневников позволяет утверждать, что первое место во внутренней иерархии о. Александра занимает творчество А. С. Пушкина.

Пушкин воспринимается Шмеманом как фигура изначальная, как основоположник особого типа «пушкинской культуры» и как, своего рода, эталон, с которым сравниваются все последующие явления: поэты «серебряного века», русские религиозные философы, Солженицын и т. д.: «…Все эти дни читаю «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской <…> Думал: в чем разница между, скажем, Пушкиным, с одной стороны, и «серебряными», с другой?» [9, с. 315]; «Булгаков, Зеньковский, Карташев. Запада, в сущности, они не знали и не понимали, знали западную (преимущественно

немецкую) науку и философию. Отсюда все-таки несомненная ограниченность их творчества, их вклада. Пушкин и Тургенев — гораздо более всемирны, чем они» [9, с. 79]*; «Все еще под ее впечатлением, вернее, — в удивлении, радостном и благодарном, перед самим «феноменом» Солженицына. Мне кажется, что такой внутренней широты — ума, сердца, подхода к жизни — у нас не было с Пушкина (даже у Достоевского и Толстого ее нет, в чем-то, где-то — проглядывает костяк идеологии)» [9, с. 60].

Солженицын, изначально попавший у Шмемана в поле непосредственной близости к Пушкину, чаще других оказывается на страницах дневников «судим» пушкинским словом. Цитаты из Пушкина знаменуют все этапы эволюции отношений о. Александра к своему другу и оппоненту: от признания за ним царственной свободы, доступной подлинному гению («Вас облепит все худшее — карьеристы, интеллектуалы, «mass media» — и потом так же бросят. Короче говоря: «Ты царь — живи один…». Надеюсь, что все это он понимает и без моих советов, и все-таки страшно за него — как бы не поскользнулся…» [9, с. 72]) до констатации его подчиненности всеобщему роковому закону: «Вечером Н. Н. рассказывает о "подоплеке" солженицынской жизни в Вермонте. Грусть и жалость. Когда думаю о нем, на ум приходит строчка: "и от судеб защиты нет…"» [9, с. 307]. Свое расхождения с Солженицыным Шмеман также определяет цитатой из пушкинского «Памятника»: «Еще по отношению к Твардовскому еще что-то от «милость к падшим призывал». А больше — нет, нет самой этой тональности, для христианства — центральной, основной, ибо без нее борьба со Злом понемногу впитывает в себя зло (с маленькой буквы) и злобу, для души столь же гибельные» [9, с. 153]. Характерно, что точка зрения Пушкина отождествляется в данном случае с точкой зрения христианства.

Пушкин в рецепции Шмемана наделяется рядом исключительных качеств, ставящих его в совершенно особое положение в русской культуре: «Редкий, наиболее счастливый случай — это полное соответствие ума и таланта. Пример — Пушкин, который, мне кажется, никогда не сказал ни одной глупости» [9, с. 333]**; «По-видимому, свободен от этого конфликта «писатель — тезис» один лишь Пушкин» [9, с. 463]; «Кто в русской истории видел и говорил *правду* о России? Пожалуй, Пушкин, а все остальные, включая даже Достоевского, только «отчасти»…» [9, с. 474]. Для о. Александра главное качество пушкинского поэтического мира, являющееся источником для всех остальных, — это пушкинская открытость жизни в ее непосредственных проявлениях («Пушкин жил в реальном мире, реальном обществе: его средой были гвардейские офицеры, "свет", в Михайловском — няня и "народ"» [9, с. 315]) и в то же время в ее тайне и глубине: «Категории преодолеваются творчеством: какие «категории» у Шекспира или Пушкина? И если они есть — в чем их интерес? Не в том ли и все дело, что, каковы бы они ни были, творчество их "претворило" и торжествует над временем, то есть над всеми категориями? Но творчество всегда из жизни и о жизни, никогда о "категориях"» [9, с. 84–85].

Главный пушкинский вопрос, стоящий перед внутренним «я» о. Александра и находящий воплощение в его дневниковых записях, — вопрос о жизни как даре, о возможности принятия или непринятия этого дара. С одной стороны, Шмеман находит у Пушкина родственное своему «ощущение *жизни*» — «восприятие каждого момента и каждого состояния как некоего *дара*», а самой жизни — как всегда обновляющейся силы, которую невозможно пережить объективированно и отстраненно: «Все всегда ново, все всегда есть не просто жизнь, а встреча с жизнью и потому как бы откровение…» [9, с. 520]. С другой стороны,

пушкинское слово предельно остро ставит перед о. Александром вопрос о потере этого дара, о выпадении из животворящего потока. Гимн жизни в дневнике Шмемана завершается строчкой: «Дар случайный, дар напрасный…» [9, с. 521].

Тема пушкинского «приятия» дара жизни» [9, с. 520] возникает в дневниковых записях в связи с отношением о. Александра к миру природы. Пейзажи Шмемана часто строятся с опорой на пушкинское слово. Иногда он использует прямые цитаты из Пушкина: «мороз и солнце» [9, с. 227, 323, 516]; «И на небе — "гусей (вернее — уток) крикливых караван... "» [9, с. 488]; иногда констатирует принадлежность того или иного природного явления пушкинскому поэтическому миру: «Октябрь. Пушкинский месяц. Осень. Особое качество света, воздуха» [9, с. 387], но чаще всего образы природы в прозе и поэзии зрелого Пушкина становятся стилистическими моделями для дневниковых пейзажей Шмемана.

Характерный пример слова Пушкина, освобожденного от наряда «литературности», — начало стихотворения «Осень»:

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл…» [8, с. 308].

Пушкин создает картину путем простого перечисления ее отдельных элементов и признаков, ищет точные и простые, близкие к жизни, к простому и правдивому языку чувств слова и выражения. «Пушкинский прием простого реалистического называния предметов, действий и протекающих картин, без всяких «поэтических» украшений» воспринимался современниками Пушкина «как пародия на фоне господства тех изощренно-эмоциональных, богатых качественными оценками и определениями, симметрически построенных описаний и изображений, которые были характерны для романических и риторических стилей первой трети XIX века» [5, с. 126]. Однако к концу XX века этот стиль был осознан как эталон совершенной «неслыханной» простоты. Пушкинское стремление назвать явления мира своими именами, снабдив их минимальными, но точными эпитетами, можно обнаружить и в дневниках о. Александра: «Снова светлый, холодный ноябрьский день, последние золотые листья…» [9, с. 312]; «Снежные горы, низкое небо, ветер, и всюду — водные просторы» [9, с. 310]. При этом так же, как у Пушкина, отказ от тропов, производящих сдвиг в семантической структуре слова, влечет за собой построение образа на основе звука и ритма. Эта функция формы, которая, по выражению С. С. Аверинцева, является «напоминанием обо "всем", об "универсуме", о "Божьем мире"» [2, с. 410], становится на страницах дневников предметом особых размышлений Шмемана: «Я всегда любил «порядок» и «ритм», через которые только и можно воспринять «дары, которых мы не ценим за неприглядность их одежд», то есть, в сущности, — саму жизнь» [9, с. 203].

Усилия по всматриванию в самые неброские явления природного мира, выраженные при помощи минимального набора художественных средств, позволяют Пушкину, а вслед за ним — Шмеману, обнажить дар жизни в его сущности, прикоснуться к нагому бытию вещей и явлений. Своеобразный диалог, возникший в поэтическом мире Пушкина, когда внять «дольной лозы прозябанью» значит и откликнуться на него сердцем и словом, продолжается и подхватывается Шмеманом: «Знаю только, что этот дар, что это откровение требуют внимания, ответа. Что жизнь, иными словами, есть постоянное «приятие» дара жизни» [9, с. 520].

Однако рядом с этим пушкинским голосом во внутреннем мире о. Александра постоянно звучит и другой, выраженный настойчиво повторяющейся строчкой «покоя

сердце просит» и темой побега от уничтожающей суеты, от жизни, которая не есть *жизнь*: «Особенно сильное чувство внутренней отрешенности, впечатление, что во всем этом действует почти кто-то другой, а не «я». Но чего — кроме покоя, тишины и свободы — хочет этот «я»?» [9, с. 104]; «Усталость. Желание — лишь бы дотянуть до конца учебного года, а эти полторы недели до конца кажутся бесконечными. Сколько еще заседаний! Споров, церемоний, ответственности. "Покоя сердце просит"» [9, с. 185]; «Письмо от вл. Сильвестра: "Недоразумение… просим Вас продолжать…" Не могу же я ему написать, что главное за всем этим — "покоя сердце просит"» [9, с. 227].

Характерно, что многообразно воплощенный в творчестве Пушкина мотив покоя [см., например: 7, с. 3–25] у Шмемана представлен только одним стихотворением — недатированным поэтическим отрывком «Пора, мой друг, пора…», особым образом предвосхитившим опыт человека XX века, познавшего распадающуюся связь времени («летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия»), бессмысленность жизни перед лицом внезапной и неизбежной смерти («а мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и глядь — как раз умрем»), сознание своей «посторонности», отчужденности от жизни («на свете счастья нет…», «усталый раб»). То, что в творческом мире Пушкина было лишь одной тональностью, стало для Шмемана, как человека XX века, живущего в ситуации утраты связи со сферой органического бытия, обреченного на существование в мире пустот и мнимостей, центральной темой.

Если в первых тетрадях дневников строки о «покое» и «побеге» звучат как убежденная внутренняя позиция автора, то по мере освоения Шмеманом дневникового дискурса и приближения его самого к последней черте эта позиция все более и более проблематизируется: «Чувствую какую-то нехорошую, недобрую усталость. Нехорошую потому, что от уныния, от желания убежать от всех этих страстишек, от всего этого бурления мутной воды, в котором плаваю столько лет. «Давно, усталый раб, замыслил я побег…». А от этого замысла, от соблазна и искушения им — усталость…» [9, с. 217].

Вопрос о «праве» на покой оказывается единственной точкой, в которой пушкинское слово ставится Шмеманом под сомнение. Здесь во внутреннем диалоге начинает звучать голос, апеллирующий к опыту церковной традиции. Замысел о побеге, выраженный пушкинской строчкой, расценивается в другой парадигме как соблазн и искушение. Аналогичную структуру внутреннего диалога можно наблюдать и в других покаянных записях о. Александра: «Все эти дни недовольство собой — на глубине. Что я, собственно, «делаю» в жизни? В сущности — саркастически ворчу на всех «непонимающих», всех «делающих» не *то*. Однако никакого *то* я сам не делаю. Живу в какой-то постоянной «мечтательности», но пассивной, не активной. Ни молитвы, ни подвига. Искание «покоя». Лень... И когда все это чувствую, как вот в эти дни, и писать не хочется, столь очевидной становится ложь моей жизни. «Восстани, что спиши?..» И ведь действительно, — «конец приближается» [9, с. 421]. В данном случае заключенное в кавычки слово «покой» соотнесено с отрывком «Пора, мой друг, пора…» и полемично оспорено цитатой из покаянного канона Андрея Критского. В других записях «покой» поставлен под сомнение благодаря религиозной системе координат, заданной словами «грех», «страсть», «духовный подвиг»: «Устал от телефонов, от суеты, от одиночества. «Покоя сердце просит». Но, может быть, и усталость эта — греховная, от лени, пустоты, постоянной капитуляции страстишкам» [9, с. 622].

Диалогизирующие голоса, один из которых поддержан словом Пушкина, а другой — церковной традицией, сложно переплетаются, не давая одному восторже-

ствовать над другим: «Солнце на крышах, солнце в пустой квартире, и во всем «присутствие», и от него — радость жизни. Иногда (часто) думаю, что, может быть, я очень холодный, равнодушный и поверхностный человек, желающий только «спокойствия». Правильно ли это — «покоя сердце просит»? Правильно ли внутреннее отталкивание от «религиозных разговоров», от «религиозной суеты», от «организации» религиозной жизни? Но, одновременно, отталкиванье от всяческого «спиритуализма», буддизма, ухода из истории?» [9, с. 405]. Образ солнца, заливающего пространство крыш и пустой квартиры, — шмемановская вариация на излюбленную пушкинскую тему «мороз и солнце» — тему полноты жизни, восторга перед ее неиссякающим даром***. Однако тут же в диалоге с первой звучит и вторая пушкинская тема — утрата ощущения жизни, выпадение из нее и потому — поиск «покоя» как «спокойствия». К Пушкину из глубин опыта человека XX века адресуется вопрос о праве на этот покой. Но вопрос не получает однозначного ответа. Можно бежать от пустой религиозной формы, от объективированного бытия, но как при этом не выйти из истории, из той воплощенности духа, из живой жизни, без которой нет христианства и которую так ценит Шмеман у того же Пушкина.

В конечном итоге, духовная ситуация отчуждения от жизни может получать у Шмемана синонимичную оценку и на языке пушкинской культуры, и на языке Церкви: «Все та же тусклая, греховно-низкая полоса. «Без божества, без вдохновенья... ». И ничего не хочется делать, и все откладываешь... Чувствую в себе полное отсутствие *подвига, усилия, собранности*, не говоря уже о молитве» [9, с. 518].

Пушкин, наиболее близкий Шмеману представитель русской культуры XIX века, становится в дневниках о. Александра, если использовать терминологию М. М. Бахтина, тем внешним «героем», слово которого «интимно связано» [3, с. 438] с внутренним голосом самого автора. При этом в голосе автора звучат, иногда перебивая друг друга, то голос радости, принимающий дар жизни, то голос усталости, отчужденный от нее, а слово Пушкина оказывается способно усиливать акценты как одного, так и другого внутреннего голоса. Однако собственно «культурных» аргументов в этом споре голосов оказывается недостаточно. Если в романном мире Достоевского диалог может быть «потенциально бесконечным», то в жанре дневника он требует разрешения, которое оформляет в единичный образ жизнь человека и позволяет ставить вопрос о ее предельном смысле. Желание автора дневника знать себя в какой-то целостности, «судить собственную судьбу, ставит ее под вопрос, слышит свою жизнь "вненаходимой"» [4, с. 143], приводит его к диалогу иного типа — к диалогу Церкви и светской культуры. То, что открывается о. Александру в образах пушкинской культуры, сопрягается с эсхатологической реальностью, с откровением Небесного Царства: «"Бывает такое небо, такая игра лучей", когда ненужными, абсолютно ненужными кажутся и Пушкин, и Толстой и т. д., когда так ясно чувствуешь — зачем все это?» [9, с. 389]. Однако пребывание в истории предполагает иное разрешение вопроса о приоритетах: «Пушкин России нужен гораздо больше, чем Типикон. Во имя Пушкина нельзя ненавидеть, резать, сажать в тюрьму. Во имя Типикона очень даже можно» [9, с. 81].

ПРИМЕЧАНИЯ

* В своей оценке Пушкина как поэта не только «всемирного», но и «западного», «европейского» прот. Александр Шмеман следует, в частности, за наблюдениями В. В. Вейдле. В статье «Пушкин и Европа», сравнивая Пушкина и Гете, Вейдле писал: «Гёте к старости все более расширял свой кругозор в

сторону Индии, Персии, Китая; Пушкин, напротив, приближаясь к зрелым годам, постепенно суживал его, ограничивал пределами Европы <…> Возможно, что недоверие к Востоку было у Пушкина отголоском классицизма, но дело тут вообще не в недоверии, не в отталкивании, вовсе не таком уж и остром, а в слишком сильном притяжении Европы, которую надлежало России вернуть, в России укоренить» (*Вейдле В. В.* Пушкин и Европа // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — XX веков. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. С. 422.

** Тема гармоничного сочетания в личности Пушкина ума и таланта развивалась, например, С. Л. Франком в работе «Религиозность Пушкина»: «…Пушкин — не только гениальный поэт, но и великий русский мудрец…» (*Франк С. Л.* Религиозность Пушкина // Пушкин в русской философской критике… С. 427). Тема «ума», или «здравомыслия», как основной характеристики христианства Пушкина развивается в статье О. А. Седаковой «Не смертные таинственные чувства». О христианстве Пушкина (*Седакова О. А.* Музыка: стихи и проза. М.: Русскій міръ: Моск. учеб., 2006. С. 416–423.

*** «Солнечность» как основное качество творчества Пушкина отмечали многие критики и исследователи. О «солнечном» призвании поэта писал И. А. Ильин в статье «Пророческое призвание Пушкина» (1937). В. С. Непомнящий отмечал, что «солнечность», понимаемая как «свет, тепло, жизнетворность, центральность», — «единственное общепризнанное у нас определение «специфики» явления, носящего имя Пушкин» (*Непомнящий В. С.* Феномен Пушкина и исторический жребий России. К проблеме целостной концепции русской культуры // А. С. Пушкин: pro et contra. — СПб.: РХГИ, 2000. С. 514.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Аверинцев С. С.* Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // Феномен несогласия в истории гуманитарных и естественных наук и биографиях ученых: Хрестоматия. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2007. С. 149–164.
2. *Аверинцев С. С.* Ритм как теодицея // Собр. соч. / Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. Связь времен. Киев: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. С. 408–411.
3. *Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского. М.: Художественная литература, 1972. 470 с.
4. *Библер В. С.* Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры. М.: Прогресс, Гнозис, 1991. 176 с.
5. *Виноградов В. В.* Стиль Пушкина. М.: Наука, 1999.
6. *Дударев Андрей.* Прот. А. Шмеман — А. И. Солженицын: очный и заочный диалог // Вестник русского христианского движения. 2013. № 201 (I). С. 186–211.
7. *Жолковский А. К.* Инварианты Пушкина // Труды по знаковым системам. 11: Семиотика текста / Отв. ред. И. Чернов // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1979. Вып. 467. С. 3–25.
8. *Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. М.: Художественная литература, 1974. Т. 2. 686 с.
9. *Шмеман Александр, прот.* Дневники. 1973–1983. М.: Русский путь, 2005. 720 с.

REFERENCES

1. *Averintsev S. S.* Predvaritel'nye zametki k izucheniju srednevekovoj estetiki // Fenomen nesoglasija v istorii gumanitarnyh i estestvennyh nauk i biografijah uchenyh: Hrestomatija / Novosib. gos. un-t.: Novosibirsk, 2007. S. 149–164.
2. *Averintsev S. S.* Ritm kak teoditseja // Sobr. soch. / Pod red. N. P. Averincevoj i K. B. Sigova. Svjaz' vremen. K.: DUH I LITERA, 2005. S. 408–411.
3. *Bahtin M. M.* Problemy poetiki Dostoevskogo. M.: Hudozhestvennaja literatura, 1972. 470 s.
4. *Bibler V. S.* Mihail Mihajlovich Bahtin ili poetika kul'tury. M.: Izd-vo Progress, Gnozis, 1991. 176 s.
5. *Vinogradov V. V.* Stil' Pushkina. M.: Nauka, 1999.
6. *Dudarev Andrej.* Prot. A. Shmeman — A. I. Solzhenitsyn: ochnyj i zaochnyj dialog // Vestnik russkogo hristianskogo dvizhenija. 2013. № 201 (I). S. 186–211.
7. Zholkovskij A. K. Invarianty Pushkina // Trudy po znakovym sistemam. 11: Semiotika teksta / Otv. red. I. Chernov. Tartu, 1979. (Uchen. zap. Tartuskogo gos. un-ta. Vyp. 467). S. 3–25.
8. *Pushkin A. S.* Sobr. soch.: V 10 t. M.: Hudozhestvennaja literatura, 1974. T. 2. 686 s.
9. *Shmeman Aleksandr, prot.* Dnevniki. 1973–1983. M.: Russkij put', 2005. 720 s.